

Н О В Ы Й  
М И Р

12



1975

Ю. ДОМБРОВСКИЙ

★

## «И Я БЫ МОГ...»

*Заметки и размышления писателя*

**И** я бы мог как...» — остальное зачеркнуто. Но первое из зачеркнутых слов читается ясно: «шут». А вот дальше неразборчиво: не то «на», не то «ви», но скорее, кажется, «ви».

И я бы мог как шут ви (сеть?)

Внизу нарисована виселица, и не какая-нибудь, а именно лета 1826 года, с телами декабристов. Так осенью того же года Пушкин попробовал зримо представить себе, что с ним случилось бы, окажись он год назад на Сенатской площади с четырьмя из этих пяти.

А затем на листе портреты, портреты... Две пляшущие фигуры, не то чертики, не то еще какая-то паутинная нежить. И опять — «И я бы мог...». Там, где лист уже обрывается, еще одна виселица. Нарисованы стена крепости, вал, закрытые ворота, даже крючки на виселице, каземат, а на крыше каземата что-то когтистое, железное, крючковатое — не поймешь что. Скучный смертный пейзаж... (см. Т. Г. Цявловская, «Рисунки Пушкина», 1970, стр. 89).

«В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплывут головой», — сообщил 3 февраля 1826 года своему корреспонденту известный чешский просветитель Франтишек Челяковский. Он спутал С. И. Муравьева-Апостола с его отцом И. М. Муравьевым-Апостолом, написавшим «Путешествие по Тавриде», но грозящую опасность уловил очень точно.

Споры о степени участия Пушкина в движении декабристов, о готовности поэта выехать в Петербург в декабрьские дни 1825 года возникли среди исследователей много позже. Одни говорили: «Вряд ли можно сомневаться и в самом намерении Пушкина выехать в Петербург. Что же касается целей этого (пушкинского. — Ю. Д.) выезда, то всякое решение этого вопроса более или менее гипотетично» (сб. «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М.—Л. 1966, ч. 2, гл. 2, написанная В. Вацуро). Или: «Можно говорить об очень большой близости Пушкина к декабристам. Но абсолютно нет никакой надобности разукрашивать эту близость легендами» (А. Шебунин, «Пушкин и декабристы» — в сб. «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», т. 3. М.—Л. 1937). (Под «легендой» подразумевались доводы тех пушкинистов, которые доказывали, что Пушкин был посвящен в заговор и ждал вызова своего друга декабриста Пушина.)

Другие исследователи — М. Нечкина, Д. Благой, А. Эфрос, М. Цявловский, Т. Цявловская-Зенгер — «легенду» защищали (иные из них, правда, с некоторыми оговорками). Вот об этой «легенде» и о том, легенда ли она, я и хочу высказать свои соображения. Уж много лет я интересуюсь проблемой, и несколько раз она поворачивалась ко мне все новыми и новыми гранями.

Начну с одного очень личного воспоминания. В 30-х годах мне некоторое время пришлось работать в Республиканской библиотеке Казахстана (тогда она не именовалась еще Пушкинской). Таких, как я, там работало человек пять, и называли нас

«индексикаторами». Книг было много, как потом оказалось, больше полумиллиона. Все они лежали в подвале в шершавых, плохо сбитых ящиках, и когда эти ящики расколочивали, а книги вытаскивали и складывали в общие кучи, уже невозможно было определить, что тут и откуда. Книги привозили из Оренбурга, Уральска, Петропавловска, Семипалатинска, из прочих старых сибирских и исконных русских городов. И каких тольких библиографических диковинок — фолиантов, залитых золотом, томов и томиков в пожелтевшей свиной коже — я тогда не насмотрелся!

Но особенно мне запомнились две книги. Они лежали на самом дне не ящика, а древнего бурого сундука. Кто-то (очевидно, сам хозяин) завернул их в толстый лист серой оберточной бумаги да еще обвязал и запечатал сургучом. Сургуч я сорвал и, надо сказать, разочаровался — ничего особенного, как мне показалось, под ним не было: третья часть альманаха Кюхельбекера «Мнемозина» за 1824 год (книга хотя не частая, но и не так уж редкая) и увесистый томик карманного формата, в крепком кожаном переплете — Фенелон, «Путешествие Телемака», Париж, 1703 год. Книгу эту не только много читали, но и штудировали. Отметки штудий остались на каждой странице, а кое-где и над каждой строкой. Но дело было не в этих не совсем понятных маргиналиях, а в надписи на первой чистой странице: «Книга, оставленная А. Пушкиным в Уральске. И. Кастанье». Об Иосифе Антоновиче Кастанье, ученом секретаре оренбургской архивной комиссии и преподавателе французского языка в оренбургской гимназии, я в то время был уже начитан и насыщенный порядком. Был он человек ученый, деятельный, осмотрительный, и к его свидетельству стоило прислушаться. Во всяком случае, его статьи и описания древних памятников вошли во все монографии об архитектуре Средней Азии. И все же этого явно недостаточно, ведь никаких обоснований для своего утверждения — вот эта самая книга принадлежала действительно Пушкину и он оставил ее в Уральске — Кастанье не приводил. Да и то сказать — для чего бы Пушкин взял в такую дальнюю и трудную дорогу (поездка по путаевским местам) «роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, без романтических затей»? Ведь он, конечно, успел ему осточерть даже не «в садах Лицея», а в отрочестве в Немецкой слободе. С этого «Путешествия» да еще с басен Лафонтена и начиналось на Руси обучение дворянских и чиновничьих детей французскому языку. Правда, Пушкин многие годы обостренно интересовался судьбой, пожалуй, первого героического неудачника и подвижника русской литературы — В. Тредиаковского. Главным же, или, во всяком случае, самым известным, трудом почтенного Василия Кирилловича была «Телемахида» — переложение романа Фенелона русским гекзаметром. Именно из этой огромной, осмеянной современниками и потомками эпопеи другой великий подвижник — Радищев взял эпиграф уже для своего «Путешествия из Петербурга в Москву». А Радищевым Пушкин интересовался по-особенному («Вслед Радищеву восславил я свободу»). Так что какие-то мотивы перелистать Фенелона Пушкин, наверное, имел. К тому же не исключено и такое: на одной из почтовых станций какое-нибудь помещицье дитя или гувернантка (страницы хранят как будто бы ее пометки) просто забыли книгу, а Пушкин ее подобрал, а потом так же легко оставил, может быть, на следующей же почтовой станции. Все это теперь никак не установишь, и я, подумав, просто отнес книгу в отдел редких изданий: «Вот вам книга начала восемнадцатого века, возьмите». Так и простоял этот томик почти сорок лет и стоял бы еще сто, если бы в юбилейные дни о нем не вспомнили как еще об одной вновь обретенной книге из библиотеки Пушкина. Что ж, так тому и быть.

Но вот альманах «Мнемозина», когда я стал его листать, потряс меня по-настоящему. (Увы! Кажется, он скоро пропал, как изрядное количество книг из этой библиотеки.) На титульном листе его была надпись: «Кондратию Федоровичу Рылееву от Кюхельбекера». Чернила желтые, орешковые, буква «р» с фигурным завитком, я хорошо запомнил это, — так писали люди конца XVIII века. Никаких пометок в книге не было. Но зато было другое, не менее для меня волнующее: на страницах остались округлые, зеркально вывернутые отпечатки букв. Кто-то поспешно сунул в книгу исписанный листок с еще не просохшими чернилами. Что это могло быть? Письмо? Стихи? Но чьи же? Кюхельбекера? Рылеева? Другого неизвестного владельца книги примерно того же времени? (Те же старые желтые чернила.)

Обо всем этом теперь можно только гадать, вернее — фантазировать. Вот я и фантазировал. Вряд ли исчезнувший листок принадлежал Кюхельбекеру. Кто же подносит книгу с испачканными листами? Да и в самой скоропалительности чувствуется что-то внезапное, стремительное, тревожное. Я долго старался как-то осмыслить эти дужки, скобки, черточки, смотрел их и так и в зеркало, показывал другим, но ничего, конечно, не вышло.

В альманахе «Мнемозина» во всех трех частях печатались стихи Пушкина, Кюхельбекера, Вяземского, стихов Рылеева там не было, он в то время издавал «Полярную звезду» и в других альманахах, понятно, не участвовал. Но кто-то, кому попала в руки эта книга (по всей вероятности, тот же Кастанье), связал ее бечевкой с другой — со старинным французским томиком, который, как он верил, принадлежал Пушкину.

Так сошлись для меня три имени — Пушкин, Кюхельбекер, Рылеев.

В годы моего детства на школьных тетрадях почти всегда помещались портрет Пушкина, лира, лавровый венок либо памятник на Тверском бульваре: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». А в первые же месяцы революции уже появились другие тетради — с репродукцией картины Ге. «Пушкин в Михайловском читает Пушкину «Кинжал» — так по крайней мере объяснили нам при раздаче этих тетрадей. Почему же именно «Кинжал»? Ведь стихотворение написано намного раньше встречи друзей в Михайловском и Пушкин скорее всего знал его в ту пору наизусть. Да и лица у друзей не особенно подходящие для такого чтения — они же улыбаются. Но нет, мы, первоклассники, твердо знали, что Пушкин читает именно стихи, напечатанные на последней странице тетради:

Лемносский бог тебя сковал  
Для рук бессмертной Немезиды,  
Свободы тайный страж, карающий кинжал.  
Последний судия позора и обиды.

Бессмертная Немезида! Карающий кинжал! Последний судия позора! — какие строки! Какие пронзительные, обнаженные, прямые, действительно кинжальные слова! В них так и чувствуется скрежетание стали. После уроков мы бежали на Тверской бульвар и видели Пушкина с красным флагом в руке. И все вокруг него было красным — ленты, лозунги, цветы. Так и вошел в нашу ребячью память, в мою, да и, пожалуй, всего поколения десятых годов, кануна революции, этот железный ряд — Пушкин, Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол. Все они были молодые, красивые, смелые и потому, конечно, погибли. Но так оно и должно было быть — в такой гибели не было ничего страшного! Только возвышенное! Только героическое! И этим героическим и жертвенным был освещен весь образ молодого Пушкина.

А однажды на школьный вечер (это было в самый разгар Февральской революции) к нам приехал писатель (кажется, А. Толстой), и он долго говорил о Пушкине и революции, а потом сказал: «В своей потаенной тетради Пушкин нарисовал виселицу и написал: «И я бы мог как шут...» Пушкин поехал, чтобы присоединиться к декабристам, и, вероятно, тоже погиб бы в петле, если бы ему дорогу не перебежал заяц». И это для нас тоже не было страшным, потому что, во-первых, «где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?». А потом, этот заяц. Ну к чему он тут? Заяц для нас был фигурой очень несерьезной.

Но через несколько месяцев пришел очередной номер «Огонька». Целую страницу в журнале занимала статья «Таинственная находка на о. Голодай в Петрограде»:

«В «Биржевых ведомостях» недавно появилось сообщение секретаря Общества памяти декабристов В. В. Святловского о знаменательной находке на о. Голодай в Петрограде могил и останков 5 казненных декабристов, находке, произведенной 1 июня с. г. во время прокладки водопроводных труб около одного строящегося на острове здания. На глубине двух с лишним аршин, позади двухэтажной каменной постройки, на дне узкой и отчасти покрытой водой траншеи видны были остатки трех полуразрушенных гробов, стоящих близко друг от друга.

2 июня В. В. Святловский, руководивший работами, нашел на протяжении 2 1/3 са-

женей остатки пяти гробов, из которых только один, первый из найденных, представлял собой нечто более цельное.

В этом лучше сохранившемся гробе были видны останки человека, одетого в форму полковника александровского времени.

Хорошо сохранились части мундира, эполеты, а также обувь на ногах. Обращало внимание большое количество ремней, найденных на ногах трупа, что давало возможность предположить, что ноги трупа были связаны этими ремнями.

Все остатки были тщательно собраны и сфотографированы.

Все собранные предметы, тщательно уложенные в лучше сохранившийся гроб, а равно остатки остальных гробов перенесены в подходящее помещение и сданы на хранение. Возникает серьезный вопрос, представляют ли пять найденных гробов действительно гробы пяти казненных декабристов.

Местонахождение могил совпадает с рассказами старожилов и литературными данными. Военная форма первого гроба относится к 20-м или 30-м годам прошлого столетия...

По определению военных, бывших на раскопках, найденная форма могла принадлежать только штаб-офицеру, полковнику или подполковнику. Похороненный был положен в гроб без оружия, а самые гробы были поставлены, по-видимому, в общую могилу, не в обычном порядке, чересчур тесно один к другому, не так, как обычно хоронят на православных кладбищах...» («Огонек», 1917, № 23).

А на другой странице — черная длинная фотография: разваливающийся гроб без крышки, а из него торчит что-то очень страшное, неприбранное хозяйство нагой и наглой смерти. Треугольная шляпа, лохмотья мундира, длинные берцовые кости, еще что-то такое же. Чьи это останки? Действительно ли пяти повешенных? За это как будто говорит и количество гробов, их именно пять, и место захоронения, и обстоятельства, ему сопутствующие. Но как в гробу оказался мундир? Если осужденных вешали в мундирах, то почему мундир только один? Военных-то было трое! А ремни на скелете — они что такое? Разве ноги смертников связывают ремнями? Но тогда чьи же это гробы? Кого здесь, черт возьми, тайно задушили, а потом так же тайно зарыли? Какое еще злодеяние скрыто в окаянной земле скотского кладбища острова Голодай? Говорят, тут была тайная канцелярия.

Никто никогда мне так и не ответил на эти вопросы. В те времена было не до того, а потом и саму публикацию забыли настолько прочно, что я не встречал людей, которые ее помнят.

«И теперь нам точно неизвестно место погребения пяти казненных декабристов. Считается, что вдова Рылеева точно знала место могилы. Это остров Голодай, т. е. северная оконечность Васильевского острова... Мысли о декабристах, то есть об их судьбе и конце, неотступно преследовали Пушкина... Я не допускаю мысли, чтоб место их погребения было для него безразлично... Скорбный интерес, который проявлял к этому месту Пушкин, трижды описывая его... позволяет нам предположить, что и он искал безымянную могилу на Невском взморье» — так писала А. А. Ахматова в заметках, помеченных январем 1963 года.

И еще: «Над виселицами... Пушкин пишет: «И я бы мог как шут», а в стихах к Ушаковой — «Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?..», как бы присоединяя себя к жертвам 14 декабря. А безымянная могила на Невском взморье должна была ему казаться почти его собственной могилой...»

«Как шут...» — эти потешные крошечные фигурки в колпачках и лоскуточной одежде еще в мое время продавали на вербное воскресенье. Они висели в ряду на длинной палке, и когда их дергали за нитку, они корчились. Вот так бы мог висеть и Пушкин. В мои школьные годы я думал именно так. Потом, в студенческие, стал рассуждать иначе — мог бы, да заяц помешал.

Так вот об этом зайце.

«Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его

непослушание, он решил отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорта, у великосветских друзей тоже опасно — огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него запастись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собраться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорское заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское ему — еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой<sup>1</sup>. В этот рассказ верили. С. А. Соболевский, опубликовавший его в № 7 «Русского архива» за 1870 год, был близким другом Пушкина и, конечно, многое о нем знал.

Имеются и варианты: Пушкин поехал в Петербург после известия о смерти императора затем, чтобы «узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет...». Ехал он, «рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки же возвратиться. Поехали; на самых выездах была уже не помню какая-то дурная примета... Вдруг дядька указывает с отчаянным возгласом на зайца, который перебежал впереди коляски дорогу» (В. И. Даль, в записи Л. Майкова).

О зайце рассказывает также соседка Пушкина по имению М. И. Осипова. И наконец, со слов брата Пушкина Льва Сергеевича (Левушки) декабрист Н. И. Лорер (только тут заяц превращается в попа).

«Да не было тут зайцев! Не было ни зайцев, ни попов,— говорил нам, студентам Высших государственных литературных курсов, а короче — ВГАК, почтеннейший и ученейший Мстислав Александрович Цявловский и, распаяясь, даже повышал голос. Видимо, ему эти несчастные зайцы изрядно потрепали нервы.— Не требовался тут кой-кой — вот его и не было. Не собирался Пушкин покидать Михайловское».

Мстислав Александрович — виновная грива, безукоризненной чистоты воротничок, суровый взгляд из-под очков и добрейшее сердце — о Пушкине знал буквально все. На его лекциях мы действительно испытывали эффект присутствия, чувство того, что Пушкин вот здесь, рядом с нами. Но в этом случае мы с ним не согласились.

Хорошо, а свидание Пушкина с Пуцциным в январе 1825 года в Михайловском, спрашивали мы его, а стихи, посвященные Пуццину — «Мой первый друг, мой друг бесценный...»? Так неужели и тогда Пушкин не спросил друга о тайном обществе? Ну да, Пушкин спрашивал, а Пуццин отмалчивался. Причины объяснил сам Пуццин: «Я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня». Но ведь эти строчки относятся еще к первым послепетербургским годам, с тех пор прошло шесть лет, и каких лет! Разве Пушкин не доказал на деле свою стойкость? «Нет! — отвечал Мстислав Александрович. — Ничего он не доказал. Разговор о тайном обществе, конечно, возник, но тут же и кончился. Да и Пушкин ни на чем особенно не настаивал, ведь он сам сказал: «Впрочем, я не ставляю тебя, любезный Пуццин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою,— по многим моим глупостям». И тогда — «молча, я крепко расцеловал его». Вот и все. При чем же тут заяц? Нет тут места для зайца!»

А примерно года через два Мстиславу Александровичу пришлось свое мнение переменить. Он присутствовал при разборе остатков вновь открытого пушкинского архива. В нем были бумаги хозяйственные — доклады управителей, — бумаги исторические (указ Пугачева, копия рапорта о взятии Арзрума, счета, планы). Судьба этой части архива примечательна: его теряли, снова находили и снова он проваливался сквозь землю, чтобы возникнуть через десятки лет на том же самом месте. В старом помещицком доме на станции Лопасне, куда наследники свезли остатки пушкинских бумаг, было много закоулков, кладовых, чердаков, и в них десятилетиями нарастали завалы

<sup>1</sup> Соболевский явно ошибался: Александр I «скончался в одиннадцатом часу утра 19 ноября 1825 г. Сейчас же после смерти его из Таганрога выехали с извещением об этом два фельдъегера — один в Варшаву... другой в Петербург...»

Первый фельдъегеря приехал в Варшаву в седьмом часу вечера 25 ноября, второй прибыл в Петербург в двенадцатом часу дня 27 ноября. От этих фельдъегерей по пути их следования и узнавали неофициально о смерти Александра. Таким образом до Пушкина весть о смерти царя легко могла дойти 29 ноября» («Литературное наследство», № 16—18, стр. 1170).

старой мебели, бумаг, портфелей, ящиков, сундуков. В одном из таких ящиков лет восемьдесят хранились тетради истории Петра. И хотя были они никому не ведомы, но нельзя сказать, чтобы их уж вовсе не трогали. Отнюдь! «Наталья Ивановна Гончарова (племянница Натальи Николаевны Пушкиной) обратила внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейками... Тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся ящик, оказавшийся в уже раскрытом виде, с бумагами, погрызенными мышами, и очевидно, что часть их уже уничтожена». Можно себе представить, что профессору Попову, которому первому пришлось заниматься «Историей Петра», не очень легко дали приведенные выше строчки. Ведь часть тетрадей «Истории Петра» так и пропала, разойдясь по канареечным клеткам да мышьиным гнездам. Но как бы там ни было, портфель с пушкинскими документами наконец обретен (в третий раз!) за шкафом, а документы принесены в Государственную библиотеку имени Ленина.

Документов много. Сто. Были они завернуты в затрепанную газету такой ветхости, что, увидев ее на следующий день, Цявловский гневно воскликнул: «Ведь так он мог и все растерять по дороге!» Принес эти бумаги внук поэта Григорий Александрович Пушкин, человек уже немолодой, но отлично сохранившийся. Его военная выправка видна даже на фотографии. Как и его отец, он пошел по военной линии и в свое время дослужился до подполковника. В советское время работал в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, но в самих рукописях разбирался, видимо, мало. «Здесь автографов деда нет,— сказал он. (Их оказалось семь.)— Здесь всякие хозяйственные бумаги». Гвоздем этих хозяйственных бумаг был следующий документ:

#### «БИЛЕТ

Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 арш. 4 вер., волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 ар. 3½ в., волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С. Петербург по собственным моим надобностям, и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск. Сего 1825 года, ноября 29 дня. Село Тригорское, что в Опочском уезде.

Статская советница Прасковья Осипова»<sup>2</sup>.

Ниже сургучная пушкинская печать. Профессора посмотрели, подивились, как мог такой неинтересный хозяйственный документ из соседнего поместья попасть к Пушкину. Зачем? Документы отослали в Ленинград, и тут Л. Б. Модзалевский сделал ошеломляющее открытие: «Слушайте, да это же пушкинский автограф!» Тогда и выяснилось, что билет с начала до конца написан Пушкиным и что голубоглазый темно-русый двадцатидевятилетний крепостной помещицы Осиповой Хохлов Алексей и есть он сам, Пушкин. А Архип тоже числится в ревизских сказках. Это тот садовник Архип Кириллович Курочкин, которого Пушкин посылал в Тригорское за забытыми там пистолетами, когда за ним прискакал нарочный от псковского губернатора («Пистолеты-то, маленькие такие, были в ящичке, жандарм увидел и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны». «А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать; это моя утеха» — из рассказов кучера Пушкина Петра Парфенова).

Очень примечателен и сам билет. Почерк, которым он написан, и подпись, которой скреплен, словно принадлежат разным людям. И каждый из них имеет свою биографию и социальную принадлежность. Билет будто писал человек уже пожилой, учившийся в прошлом веке на медные деньги. Он изрядно поднаторел в написании поминаний, здравий, а потом был забран помещиком к себе. Строчки ровные, четкие, каждая буква отдельно, в буквах много воздуха и просветов, поэтому текст читается сразу, без напряжения. Это образцовое графическое клише конца XVIII века. Буквы стоят прямо, как солдатики, все они одинаковой высоты и ранжира. И в каждой строчке количество их примерно одинаково. Такие почерки вырастали из полуустава. Они рождались в деревне, а не в городе. Уже гоголевский Акакий Акакиевич писал иначе, его почерк формировался в столичных канцеляриях. У Акакия Акакиевича буквы были неровные, каждая имела свой особый характер, у него были даже свои любимицы, а заглавные представляли собой подлинное произведение графологического искусства.

Почерк, которым выписан билет, совсем не таков. Этим почерком писались метри-

<sup>2</sup> Сб. «Звенья», т. 3—4, 1934, стр. 146.

ческие записи, копии указов, ревизские сказки, всякое другое, выходящее из усадебной канцелярии. Выше чем в казенную палату или в крайнем случае к губернатору такие бумаги не поднимались. Надо было обладать исключительным графическим мастерством, чтобы создать документ такой безукоризненной подлинности, в сущности — портрет крепостного писца.

Подпись же помещицы Осиповой сделана другим, острым пером. Это почерк человека иного происхождения. В нем свобода, легкость, плавность. В нем властность сочетается с мягкой женственностью. Это действительно высокая рука госпожи.

Когда был использован этот билет? В начале декабря? Или ближе к дням восстания?

Обратимся снова к «Запискам» Пушкина. «Он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка». Тут слова стоят в превосходной степени, если царь перепугался, то «ужасно», если успокоился, то только тогда, когда узнал, что Пушкин, да не тот!

Конечно, если поэт так определял отношение императора к нему, надеяться ему было совершенно не на что. Его самовольный приезд в Петербург повлек бы за собой неизбежный арест.

Но вот «властитель слабый и лукавый» умер. К этому времени, очевидно, и относится рассказ кучера Пушкина П. Парфенова. В город Новоржев Пушкин ездил? — спросили его. «Не запомню, ездил ли, — ответил старый кучер. — Меня раз туда посылал, как пришла весть, что царь умер. Он в этом известии все сумневался, очень беспокоен был, да прослышал, что в город солдат пришел отпущной из Петербурга, так за этим солдатом посылал, чтоб от него доподлинно узнать».

А раз умер, ссылка Пушкина приобретает несколько иной характер. Ведь он был сослан без предъявления обвинения, по личному приказу императора. Поэтому его появление в Петербурге вряд ли, считал он, будет расценено властями как большой проступок. К тому же новый монарх приходит всегда с милостивыми манифестами и прощениями. А легче всего простить того, кто и не был формально осужден.

Вот так, по-видимому, можно объяснить этот загадочный документ из помещичьего архива<sup>3</sup>.

Но что же дальше? Пушкин проехал несколько верст и вернулся. Почему? Действительно, заяц дорогу перебежал? Поп встретился? Еще случилось что-нибудь подобное? Вполне, вполне вероятно. Любая примета или препятствие могли повернуть Пушкина назад. Ведь ехать он решил сторяча, на авось, поддавшись первому впечатлению, без всякой твердой уверенности в успехе (и верно, Жуковский через несколько месяцев спустя решительно советовал Пушкину в Петербург не рваться, а смиренно сидеть и писать: «Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы»).

А раз так, то вспомним Шекспира: «Соломинкой переградите путь мне, и я послушно поверну назад».

Вот заяц и явился такой соломинкой. Пушкин возвратился и больше Михайловское не покидал.

Он чего-то ждал. Чего же?

В 1930 году, за четыре года до опубликования билета, М. В. Нечкина в статье «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях» впервые процитировала несколько строк

<sup>3</sup> Противники «легенды», считая, что документ не имеет отношения к поездке Пушкина, обычно ссылаются на статьи А. Шебунина и С. Гессена. Но что касается Шебунина, то он, не приводя каких-либо новых доводов, просто ссылается на статью С. Гессена «Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года». Гессен же исходит из ложной предпосылки, что Пушкин подделал только самый текст билета. Но в том-то и дело, что подпись помещицы, как и весь текст, фальсифицированы тоже Пушкиным. Эта подпись даже несколько не напоминает обычную роспись П. А. Осиповой, которую Пушкин, конечно, знал. «Даже ей (Осиповой. — Ю. Д.), обычно посвящаемой поэтом в его дела, Пушкин не решился доверить свой план», — пишет М. А. Цявловский. Следует отметить также, что Гессен, высказывая свои соображения, не скрывал того, что цель подделки ему совершенно не ясна («Какое же происхождение этого таинственного документа? Мы сейчас не беремся дать исчерпывающий ответ»).



из неизвестных тогда записок декабриста Н. И. Лорера. «Однажды он (Пушкин.— Ю. Д.) получает от Пуцина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Не долго думая пылкий поэт мигом собрался и поспекал в столицу». А дальше речь идет опять о дурных приметах. «Не будет добра»,— сказал Пушкин и вернулся («Каторга и ссылка», 1930, № 4). И вот, похоже, в наших руках оказывается тот момент истины, исходя из которого можно себе представить, что случилось на самом деле. Возвратимся снова к запискам Пуцина. При их свидании в Михайловском сначала разговор друзей заходит о том, как Пушкин очутился в деревне. Тема эта личная, интимная и для Пушкина не особенно приятная. Пуцин почувствовал, что касается чего-то очень щекотливо, и расспросы прекратил. Наступила пауза. Тогда Пушкин и спросил, что о нем говорят в Петербурге и Москве. И, не дожидаясь ответа, сам стал рассказывать, как он перепугал императора. Вывод для обоих был ясен: в это царствование ни в Петербурге, ни в Москве Пушкину не бывать. А царю еще и пятидесяти нет, он здоров и бодр. На этом разговор, видимо, и прервался, чтоб через несколько часов возникнуть уже на совсем другом уровне.

Пуцин не мог не почувствовать настроение друга. А друг метался, нервы у него были натянуты до предела, каждую минуту можно было ожидать срыва, катастрофы. От этого тревожного времени сохранилось письмо П. А. Осиповой Жуковскому. Сначала она пишет о том, что воздух Пскова не менее опасен для поэта, чем воздух Сибири. А потом: «Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в полямя, а там поздно будет размышлять о следствиях. Все здесь сказанное не пустая догадка» («Голос минувшего», 1916, № 1). Известен также следующий очень показательный факт: А. Н. Вульф собирался летом 1825 года за границу и предлагал Пушкину увезти его с собой под видом слуги. «Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта,— говорил впоследствии А. Вульф,— не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах». А сам Пушкин в письме к Вяземскому так определял свое положение и самочувствие: «Друзья обо мне хлопочут, а мне все хуже и хуже. Сгоряча их проклинаяю, обдумаю, благодарю за намерения. А все же мне не легче».

Всего этого Пуцин, конечно, не мог не заметить. Вот тогда, опасаясь катастрофы, он, видимо, и открыл Пушкину очень многое. Не беда, мог сказать он, что царь здоров и бодр, не беда, что он еще не стар. Есть люди, есть дело. Свобода придет только с этой стороны. А пока Пушкин должен смиренно сидеть в Михайловском и ждать письма от Пуцина. А получив его, немедленно выезжать. Видимо, при свидании была названа и явка — квартира Рылеева в доме Русско-американской компании. Именно этим и объясняется такое до сих пор не совсем понятное место в рассказе Соболевского: «Положил сперва захватить к Рылееву на квартиру и от него запастись сведениями». Но почему же именно к Рылееву? Разве не было в Петербурге того же Дельвига? Рылеев «вел жизнь не светскую»,— объясняет Соболевский. Объяснение, надо сказать, довольно натянутое. Близко с Рылеевым Пушкин знаком не был. Наоборот, сначала была ссора, едва не закончившаяся дуэлью, затем примирение. Вот и все.

Но, конечно, Пуцин Рылеева назвал не зря. Ведь именно Пуцин принял его в тайное общество, то есть как бы являлся его патроном. А что они говорили о Рылееве, Пуцин того не скрывает: «Пушкин просил, крепко обнявши Рылеева, благодарить его за патриотические «Думы»».

Но точно ли за «Думы»? Ведь Пушкину они никогда не нравились. И он вслух говорил об этом. Весть об этом дошла и до самого Рылеева. «Пушкин суд мне строгий произнес и слабый дар как тайный недруг взвесил» («К А. А. Бестужеву»),— писал он тогда же. Так что благодарить за «Думы» Пушкин никак не мог. Это выглядело бы насмешкой. Не ошибся ли Пуцин?

Нет, не ошибся. Он только сказал полуправду. И вот тут, кажется, приоткрылся крошечный краешек завесы, которую Пуцин набросил на это свидание. В самом деле, как он мог забыть то, что привез письмо от Рылеева? А в нем, между прочим, были такие строки: «Я пишу к тебе: ты, потому что холодное в ты не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пуцин познакомит нас короче... ты около Пскова: там задушены последние вспышки Русской свободы...» Очень знаме-

натальные слова. (И опять Псков!) Познакомить двух поэтов короче? Как же? Конечно, открыв Пушкину душу и мысли Рылеева! Так как же Пуцин мог забыть про такое письмо? Все это очень странно. Разгадка, видимо, в том, что если вдуматься, внешне простодушные «Записки» окажутся далеко не так просты и откровенны. Они ларчик со скрытыми дружинами. Назовем тому два примера.

В послелицейские годы Пуцин на Невском встречает отца поэта очень расстроенным. Сергей Львович рассказывает Пуцину о какой-то новой «проказе» сына, да притом такой, что, пишет Пуцин, «я задумался, и, признаюсь... мысль о принятии Пушкина (в тайное общество.— Ю. Д.) исчезла из моей головы». Так что же это была за «проказа»? «Право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется». В этом и все дело. Не хочется Пуцину припоминать и еще очень многое. А когда избежать этого трудно, он отделяется неясной скороговоркой, разобравшись в которой не всегда возможно. Так, несколько туманных фраз о швеях, работающих в няининой комнате («Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений... Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно... все было понятно без всяких слов»), породили в 20-х годах обширную полемику между В. В. Вересаевым и П. Е. Щеголевым. Эту особенность «Записок» Пуцина надо принять во внимание. «Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить; обним нужно было вздохнуть». Так после чего вздохнуть? После молчания или разговора? Если после разговора, то получает разъяснение следующий неожиданный и малопонятный до сих пор факт: брат Пушкина Лев, по словам отца, «в день ареста Рылеева поехал к нему... понесли лошади... и когда добрался к Рылееву — тот был уже арестован и квартира его запечатана». Так рассказывала историку М. И. Семевскому младшая дочь тригорской помещицы М. И. Осипова. Теперь вспомним, что о письме Пуцина мы знаем только по рассказу этого самого Левушки. Таким образом, получается ряд — А. Пушкин, Пуцин, Рылеев, Лев Пушкин. По-видимому, Пуцин называл адрес Рылеева как место встречи не только Александру Сергеевичу, но и брату его.

Что произошло дальше, рассказывает М. И. Осипова. Был обычный зимний вечер в Тригорском. Барышни и хозяйка сидели за чайным столом. Пушкин стоял у печки. Печки в помещичьих домах тогда делались высокие, жаркие, с синевато-белыми изразцами, около них хорошо было греться. О чем-то говорили. И вдруг хозяйке сообщили, что неожиданно приехал повар Арсений. Он был послан в город по хозяйственным нуждам и вот вернулся «в переполохе». Позвали, стали расспрашивать. «Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, насилие выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно — не помню. На другой день — слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу». Таково единственное свидетельство очевидца, записанное, правда, через сорок лет после события.

Источники других рассказов — Даля, Соболевского, Лорера (со слов Льва Пушкина) — нам неизвестны. Одноглазого садовника Архипа никто не догадался опросить. А кучер Петр Парфенов явно про поездку ничего не знал. Он при расспросах рассказал обо многом, но не об этом. Так что, очевидно, первоисточником всех рассказов является сам Пушкин.

А потом все было спутано и свалено в одну кучу. Зайцев оказалось много, и они все бежали и бежали. И между ними затерялся тот единственно достоверный заяц, который перебежал дорогу Пушкину, видимо, в самом начале декабря, когда поэт, убедившись в смерти императора, сгоряча решил появиться в Петербурге, чтоб узнать, «что делается и что будет», и через сутки вернуться в Михайловское.

Другие зайцы были уже ни к чему. Как и сама поездка. Пушкин ждал письма. Письмо не приходило. Пуцин смог выехать в Петербург только 5 декабря (а просьбу подал 27 ноября). Дорога занимала два-три дня, значит, в Петербург он прибыл не раньше 8 декабря. И вряд ли сразу же сел за письмо. А между тем обстановка складывалась очень смутная. В стране возникали и множилось странные слухи. Говорили о насильственной смерти императора. В десятых числах декабря слухи просочились за

границу. Пушкин продолжал ждать письма, а оно все не приходило. И наконец произошло то, о чем рассказывает Осипова,—приехал повар и рассказал об уже разгромленном восстании: везде караулы, по городу разъезжают конные. Ехать в Петербург в такой обстановке было бы, конечно, не только безумием, но и простой глупостью. И Пушкин остался. Вот тогда скорее всего и пришло столь запоздавшее и уже бесполезное письмо Пущина. Пушкин начинает готовиться к обыску и аресту. Он сжигает как само письмо, так и свои записки («... принужден был сжечь свои записки. Они могли бы замешать имена многих, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере, я в них говорил о людях, которые после стали историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства»). От этого тревожного времени остались рисунки — колонка профилей декабристов на большом листе бумаги: Пущин, Дельвиг (он ведь тоже мог быть замешан), Кюхельбекер (несколько раз) и Рылеев. Вот он — самый осязаемый след разговора. Он и свой портрет было поставил в этот ряд, но потом зачеркнул — может, потому, что он ему не удался, а может, оттого (догадка А. Эфроса), что понял: ему еще нет места в этой скорбной колонке, оно еще где-то впереди.

В первую годовщину казни он так и напишет:

Нас было много на челне;  
 . . . . .  
 Пловцам я пел... Вдруг лоно волн  
 Измял с налету вихорь шумный...  
 Погиб и кормщик, и пловец! —  
 Лишь я, таинственный певец,  
 На берег выброшен грозою,  
 Я гимны прежние пою  
 И ризу влажную мою  
 Сушу на солнце под скалою.

И на другом уже листе нарисует виселицу: «И я бы мог...»

Вот эта так резко оборванная и наполовину зачеркнутая строка и есть, по-моему, главный, решающий аргумент во всем споре.

Из нее, как мне кажется, вытекает, что Пушкин был действительно посвящен своим рассудительным и спокойным другом во все и ждал только вызова. Иначе как же можно толковать эту строку над виселицей?

В самом деле — за что поэт мог ожидать себе петлю? За вольнолюбивые стихи? Но с тех пор прошло пять лет и он уже поплатился за них ссылкой.

А еще за что? Ведь все эти годы он прожил далеко от Петербурга, то есть от политической и общественной жизни страны, и ни в чем антиправительственном не участвовал.

Рисунок — виселица и надпись над ней сделаны год спустя после восстания, между 9 и 28 ноября 1826 года. Понятно, что первые дни после событий Пушкин мог ждать всякого. Но вот прошли и следствие, и суд, и казнь пятерых, состоялся уже разговор с Николаем I. Значит, очень уж обдуманна, очень уж отстоялась в душе эта строчка над виселицей с телами пяти повешенных. Она итог пушкинских раздумий о своей судьбе и о возможном ее повороте.

Вот те выводы, которые, как мне кажется, можно сделать из всего изложенного. Конечно, все это только гипотезы. Но ведь и построения противников «легенды» гипотетичны не в меньшей степени.

Во Всесоюзном музее Пушкина в Ленинграде хранится странная реликвия — пять сосновых щепок в деревянном ящике. Раньше он был запечатан печатью Вяземского, а к крышке прикреплена записка: «Праздник Преполовения за Невой. Прогулка с Пушкиным. 1828 год». Ящик как ящик, черный, с выдвигной крышкой на пазах, и щепки — не очень большие, свинцово-серые, такие же, как и всякая старая древесина. Откуда они? При чем тут Пушкин? При чем праздник Преполовения? Кое-что, но далеко не все поясняет письмо Вяземского жене: «Сегодня праздник Преполовения, праздник в крепости. В хороший день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят народ. Сегодня и праздник ранее, и день холодный... Мы сядились с Пушкиным в лодочку... пошли бродить по крепости и бродили часа два... Много страшного и мрачного

и гронопозитического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах».

Так что это — просто щепки, подобранные где-то в Петропавловской крепости? Память о месте, и все? Пять щепок — пять казенных? Но почему тогда ящик был запечатан, а записка к нему так невразумительна: «Прогулка с Пушкиным»? На эти вопросы сейчас невозможно ответить.

В том же году на черновиках «Полтавы» Пушкин снова рисует тела повешенных. Крупные, детальные рисунки. Казненные изображены со связанными руками, перекрученными шеями. Самые страшные из рисунков этой серии. «Можно сказать, что Пушкин, вернувшись вторично к зарисовке, пытался во второй раз еще нагляднее и острее представить себе жуткую картину мучительной смерти тех, с кем он был бы вместе во время восстания» (А. Эфрос).

И все-таки что означают эти пять стесанных топором щепок в наглухо запертом ящике? Неужели Пушкин и его друг имели какие-то основания полагать, что они завалялись здесь еще с тех времен, когда срубалась и ставилась эта проклятая виселица — одна на пятерых? С тех пор прошло ведь два года! Но, может быть, может быть...

В тревожные дни зимы 1826 года Пушкин рисовал не только декабристов, но и тех, кого он считал к ним причастными.

Баратынского он тогда не рисовал и ни в какую связь с событиями 14 декабря его не ставил. Набросал он его только через три года на тексте черновика «Полтавы», там же, где нарисовал фигуры повешенных. Набросал быстро, резко и, как всегда, мастерски. «Все эти черты, которые мы видим на разных портретах Баратынского, кажутся собранными как в фокусе в прекрасном, смелом наброске Пушкина» (Т. Г. Цявловская, «Рисунки Пушкина», 1970).

О политических взглядах Баратынского мы почти ничего не знаем, только, пожалуй, то, что он писал вольнолюбивые стихи и так называемые агитационные песни. О них упоминалось на заседании Верховного уголовного суда (сб. «Декабристы и их время», 1951). Но ни стихи, ни эти песни до нас не дошли.

«Сблизившись с Александром Бестужевым и Рылевым, — пишет профессор К. В. Пигарев, — он принимает участие в сочинении вольнолюбивых куплетов, которые распевались на ужинах деятелей Северного общества. Возможно, что отрывком одной из таких песен и является приписываемый Баратынскому экспромт о свободе:

С неба чистая, золотистая  
К нам слетела ты,  
Все прекрасное, все опасное  
Нам пропела ты!»

Впервые эти стихи появились в 1869 году в книге «Материалы для биографии Е. А. Баратынского» и были там представлены как «несколько стихов, дошедших до нас по воспоминаниям на эту тему (свобода. — Ю. Д.), внушенную ему (Баратынскому. — Ю. Д.) на одном из ужинов этой молодежи».

Мне кажется, что существует и еще отрывок из этих стихов. Находится он в романе М. Воскресенского «Черкес»:

Слетела к вам  
С небесного я свода,  
Пропела вам  
Я песню о свободе!

Это как будто голос самой «девы Эвмениды», музы вольности святой. Но тогда ведь это не экспромт, а отрывок из стихотворения.

Фамилия М. И. Воскресенского сегодняшнему читателю ровно ничего не говорит, но в начале 40-х годов и до половины 60-х прошлого века он был очень расхожим плодовитым романистом охранительного толка. Роман, о котором идет речь, как литературное произведение стоит очень мало. Но ту общественную среду (кружки), в которой зарождались подобные песни (эти куплеты «визгливым» голосом поет один из участников кружка), он определяет довольно точно. Так как роман вышел в свет в 1839 году, хочется из довольно обширного описания, посвященного этим кружкам, процитировать несколько строк. Говорится о молодежи: «Все они принадлежали к тому жалкому, а более и смешному классу пустых людей, которых именно можно назвать недово-

ны ми. В 1825 году в Москве белокаменной больше, нежели когда-нибудь, развелось этой вредной, хотя и ничтожной моли в светлом хитоне, одевавшем всеобщее благоденствие, но теперь выбитой из него совершенно жезлом благоразумных распоряжений высшего начальства...»

«Все эти крикуны... по большей части молодые выскочки, не занимавшие по ограниченности своих понятий никаких должностей в обществе... любили говорить свысока, рассуждать важно о вещах, совершенно недоступных для их понятий, толковать о правлениях...»

«Кричать — разумеется, впрочем, не во весь голос и не везде,— что у нас в России все глупо, гадко, стеснено, что не дают простора уму юного поколения, что Аристократия давит плебизм и что нет ни дороги, ни поощрения ничему изящному, высокому, героическому!»

Это, конечно, говорится не о самих декабристах, а о кругах молодежи, близкой к ним. Участь мятежников их миновала только случайно, а может быть, и вообще не миновала.

Есть один потрясающий документ, с которым мы познакомились совсем недавно. «При возмущении 14 декабря 1825 года убито народа:

Генералов	1
Штаб-офицеров	1
Оберофицеров разных полков	17
Нижних чинов лейб-гвардии	
Московского	93
Гренадерского	69
Екипажа гвардии	103
Конного	17
во фраках и шинелях	39
женска пола	9
малолетних	19
черни	903
<hr/>	
Итого	1271 человек.

(«Заметка чиновника Департамента полиции С. Н. Корсакова о количестве жертв при подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 г.», хранящаяся в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Комплект открыток «Рукописные памятники». М. 1975, открытка № 13) <sup>4</sup>.

Эта тысяча и есть та «светлая моль», как ее назвал Воскресенский, и такова, значит, была цена «благоразумных распоряжений высшего начальства».

В 1930 году, то есть сорок пять лет назад, М. В. Нечкина написала статью «О Пушкине, декабристах...» по неисследованным архивным материалам. Начиналась статья так: «О Пушкине и декабристах исписаны горы бумаги. Кажется, об этом уже «все» сказано».

А совсем недавно, в 1975 году, появилась статья И. Ф. Иоввы «Новые материалы о связях Пушкина с декабристами» («Русская литература», 1975, № 2).

Новые материалы. Все новые и новые... Поистине бесконечная тема. Такая же неисчерпаемая, как и сам Пушкин!

<sup>4</sup> Этот документ ошеломляет своей неожиданностью. Число жертв в нем оценивается в десять раз больше, чем считалось до сих пор. Но вот что писала М. В. Нечкина: «Официальному подсчету жертв 14 декабря (около 80 трупов на площади) верить, конечно, нельзя... Евгений Вюртембергский говорит о «нескольких сотнях...». Сенатор Дивов говорит о 200 человеках. Бутенев, склонный преуменьшать бедствие, пишет о том, что «молва» насчитывала до «300 душ убитых и раненых...» (М. В. Нечкина, «Движение декабристов», т. 2, 1955). Вспомним также свидетельство Н. Бестужева: «С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не заметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии... когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы» («Декабристы». Л. «Художественная литература». 1975, т. 2, стр. 338. Николай Бестужев, «14 декабря 1825 года»).



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1975 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Новые стихи	3
ЮРИЙ СБИТНЕВ — Жизнь как жизнь..., повесть	10
ТАТЬЯНА СМЕРТИНА — По своим следам иду..., стихи	50
ТИМОФЕЙ СОКОЛОВ — Перед трудным выбором, повесть-быль. Послесловие генерал-лейтенанта юстиции Н. Ф. Чистякова	53
ГОЛОСА ДАГЕСТАНА: Омар-Гаджи Шахтанов. Моя река Кара-Койсу; В осеннем саду; Андийское озеро; Памяти Хемингуэя. Перевел с аварского В. Равич.— Амадан Кукуллу. Стихи о разлуке; Повелитель земли; Друзьям. Перевел с татского А. Големба	118
ИЗ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ: В. Завада. В полете; Жатва.— Иван Скала. Дом; Моя Испания; Желанье; Колокола.— Д. Шайдер. Мой день; Июньский дождь; Голову обнажив..., На родине моей. Перевели Вл. Солоухин, Вера Игельницкая, Т. Глушкова, Г. Андреева	126

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
В. ДЖАЛАГОНИЯ, Б. ЧЕХОНИН — Чистый воздух	135
ПЕТР РЕБРИН — В муромцевских даях	147

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. БРАЙНИН — Революционный сборный пункт столицы	176
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

<i>К 70-летию революции 1905—1907 годов</i>	
А. КОСТИН — Пламя революции над Россией	179
<i>К 150-летию со дня восстания декабристов</i>	
Г. НЕВЕЛЕВ — Неизвестные письма декабристов	193

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
Ю. ДОМБРОВСКИЙ — «И я бы мог...». Заметки и размышления писателя	205
Л. ВИШНЕВСКИЙ — Из летописи подвига (Петр Долгоруков и люди 14 декабря)	217
ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ — Записка декабриста, стихотворение	222
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
М. ПАРХОМЕНКО — Рубежи познания. Актуальные проблемы типологии социалистического реализма	223
М. КОЗЬМИН — Оставить след на земле. Над страницами романа Ю. Бондарева «Берег»	246
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Галина Серебрякова. Дорогой первых коммунистов.— И. Денисова. Поэма о декабристе.— Л. Аннинский. Воля. Путь. Результат.— В. Баранов. В многообразии — единство.	257
<i>Политика и наука</i>	
А. Ушаков. Авангард революции.— В. Косолапов. Истоки.— В. Орлов. Зоркость глаза, емкость памяти.	267
КОРОТКО О КНИГАХ — Н. Яковлев.— Марк Сергеев. Подвиг любви бескорыстной. Рассказы, воспоминания. ♦ Эр. Ханпир.— Л. П. Петровский. Петр Петровский. ♦ Б. Исеев.— И. Смирнов. Марковская республика. Из истории крестьянского движения 1905 года в Московской губернии. ♦ Н. Долотова.— Роман Белоусов. Из родословной героев книги	276
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	279
<b>СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1975 ГОД</b>	280